Дезинтеграция / рассказ

Category: Hekaýalar,Kitapcy
написано kitapcy | 24 января, 2025
Дезинтеграция / рассказ ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ

I.

Каждому случалось быть растерянным.
Евгений Детинин однажды осенью целый месяц был один (жена с дочерью где-то гостили), и может быть, впервые в жизни (а ему исполнилось тридцать шесть) чувствовал себя как-то не так. Когда говорят «не в своей тарелке», «выбит из колеи», «недомогает», это слишком плоские, затертые выражения. Он впервые с детства чувствовал себя н е т а к, не в форме. Понимаете: вот есть у человека форма — рост метр семьдесят восемь, восемьдесят два килограмма весу, серые глаза, прямой нос, давняя операция по поводу аппендицита, шрам на правой голени (протаранил в детстве бутылочным осколком, накладывали скобку), каштановые волосы уже с проседью на висках, — и все это существо доселе чувствовало, что обладает всеми потенциями, вполне себе принадлежит. И только сегодня с ним что-то не то: он себе не принадлежит. Он себе не принадлежит весь день, и в конце дня за чашкой горячего молока на кухне стремится это осмыслить. Хотя нет, вру: пытается это, прежнее самочувствие, обрести.
Нет, давайте так. Вообразите боксерский матч, вообразите непобедимого, заносчивого от безнаказанности боксера на ринге, — и вдруг от первого же удара, справа в челюсть, у этого героя все поплыло перед глазами. А он даже не знает, как это на профессиональном жаргоне называется, когда ты разобран на части, развинчен, как худая подагрическая старуха. А это называется нокдаун. Ты хоть и на ногах, но собраться не можешь, охотно бы прилег. Да еще страх, что противник сейчас добавит, до нокаута. И вот ты топчешься, как плюшевый медведь, загораживаешь лицо перчаткой, призываешь улетевший дух, восстанавливаешь сбитое дыхание.

И первая за тридцать шесть лет мысль: «А ведь я могу и умереть, мне сейчас дали это почувствовать».
И вот представьте, что с Детининым э т о длится весь день, с утра, без видимых причин (потому что он не болен, спал как обычно, и на работу выходить только через пару дней).
Будь он сколько-нибудь умным (то есть, воспринимай он мир во взаимосвязях), он бы подумал: уж не переспала ли с кем моя жена? Но он глупый. Он так доверяет жене, прожив с ней несколько лет, что даже мысли такой не допускает. И все-таки сегодня что-то произошло, от чего колосс ощутил, что он на глиняных ногах. Он растерян сегодня весь день; он пьет молоко с медом, хотя на простуду не похоже, – но, может, хоть настроение подымется?
И вот, и без того-то разобранный, как детский моделист-конструктор (у дочери такой был), и без того-то нынче склонный уединиться, Евгений Детинин вдруг слышит, что в дверь звонят. Как человек глупый (потому что умный бы вспомнил, что у жены есть свой ключ, а никто другой ему сейчас не нужен) он встает и идет открывать.
– Здравствуйте! Можно войти?
На пороге стоит очень белокурый симпатичный красавец лет этак тридцати, в пшеничных усах, с голубыми глазами, с сумкой на ремне через плечо, в ковбойской куртке, желтых ботинках, приятно улыбается, а под мышкой держит здоровенный кабачок фунтов на восемь (у кабачка еще и хвостик не отсох).
И не расположенный никого видеть Детинин отступает в глубь комнаты, а парень входит в прихожую. Все так же улыбаясь, протягивает руку, представляется:
– Черпиземев Валентин.
– Как? – непроизвольно переспрашивает Детинин.
– Черпиземев, – поясняет парень. – Землю черпает.
– Тьфу, черт! – неискренне смеется Детинин. – Мне показалось Чертизинин. У меня есть родственница, тетя Зина.
– Я к вам из Логатова, от Владимира Эппа. Владимира Эппа помните?
Владимира Эппа потрясенный и растерянный Евгений Детинин помнил. Эпп был его друг, его логатовский друг еще со

студенческих лет. Они и до сих пор виделись ежегодно не по одному разу. Друзья моих друзей – мои друзья. Так что Детинин ответил на рукопожатие с большим чувством. Но страх не исчез, а растерянность даже усилилась, как у боксера в нокдауне, которого противник достал и боковым левым. Прямо паника в душе поднялась. А причин вроде бы не было: Черпиземев производил впечатление вежливого, хотя немного слишком оживленного, напористого человека. (Умный бы хозяин сразу понял, что Валентину Черпиземеву не на что в Москве снять гостиницу и он боится, что со столь скромным подношением как кабачок его просто не впустят. Такими методами много позже пользовались рейдеры, когда требовалось выгнать из квартиры неплательщика или переселенца).

– Помню. Как он живет? А у меня как раз жена уехала на неделю, я один. Раздевайтесь.

– Такая гадость на улице, похоже на снег.

– Рано вроде бы снегу-то…

II.

Еще несколько пояснений не помешают делу.

В жизни некоторых людей случаются некие промежутки. Это не сумеречное состояние, потому что оно все-таки длительно, а резкое, непродолжительное, как смена дня и ночи на Луне: одной ногой можно ступить на освещенную сторону, другой – на ночную. Или как у пловца, который только что наслаждался волнами, а теперь утопает: ногу свело; и после счастья и удовольствия погружается в ужас. Нынче будто бы изобретены некие браслеты, кольца, иридиевые или ванадиевые пояса, которые ломку динамического стереотипа предотвращают (стоят больших денег); так что этот резкий биоритмический переход, вызванный атакой свободных радикалов, становится плавным, для человека неощутимым. Но Детинин нутром, как поджигаемый зеленый куст, чувствует, что в его ареал ворвался и там хозяйничает чужой. Воспользовавшись ослабленностью организма, в него внедрилась бацилла; в поврежденную клетку вторгся фагоцит и давай пожирать митохондрии и вакуоли. Опасность чувствуется

подсознательно. Конечно, Черпиземев, ласковый, кудрявый, симпатичный, прямо ангел с виду, но, едва он вошел и назвался, мозг Детинина, после взаимного обнюхивания с чужаком, заблокировался — и заблокировался намертво — двумя странностями; первая: он же землю черпает, а я под знаком Земли рожден; и вторая: он же с кабачком пришел, а кабачок — это кабак, а кабак — эт о вы пивка, а я не пью. Два нелепейших, несусветных, с логикой и здравым смыслом разлученных мыслеобраза возникли и мозги простодушного, доверчивого, глупого человека закомпостировали. Так что знакомство сопровождалось большим конфузом, а хозяин дома казался растерянным уже вдвое сильнее прежнего.

— Как удачно! — говорит Черпиземев, подразумевая уехавшую жену. — Могу я у вас сегодня переночевать?

— Ну, я не знаю…

— Я завтра уже уеду, — настаивает гость.

— Ну, я не знаю, все так неожиданно… Мне же вас кормить нечем. Жена уехала, а я сам ничего не готовлю.

— А мы сейчас кабачок поджарим. Пробовали жареный кабачок? — Фагоцит, бесцеремонный, наглый от сожранных митохондрий и вакуолей, проходит без приглашения на кухню, там сгружает светло-зеленый снаряд на стол. — Растительное масло у вас есть?

— Комбижир.

— Нет, жир — не то. Во-первых, не так вкусно, а во-вторых, у меня пост.

Детинин остался стоять с открытым ртом: красавец-мужчина с розами и ямками на щеках, хорошо одетый и не дурак, говорит, что у него пост!

И в мозгу Детинина немедленно возник третий щит: так он же больной, держись от него подальше. Теперь Детинин был уже недоволен, что впустил гостя. На периферии, готовая сформироваться в четвертую заслонку, уже блуждала мысль: так он же вообще гомосексуалист, смотри, осторожнее с ним!

Теперь уже хозяин ходит по своей кухне, как незваный гость, а гость, напористо болтая об Эппе и городе Логатове, просит то сковородник, то чугунную сковороду, то разделочную доску.

Орудует, и правда, так весело, дружески и развязно, как, видимо, принято у гомиков при любовном свидании. (Детинин, женатый человек, слоняется вокруг и подает из кухонных шкафов что требуется). Укропа, эх, жаль, не оказалось, зато нашлась индийская приправа куркума.

Детинин теперь не просто заторможен, как с утра и днем, а прямо обречен, производит впечатление совсем зачуханного, измученного человека; он замкнут, хмур, говорит мало и через два слова на третье жалуется.

— Я за тебя помолюсь, — говорит постник и монашествующий в миру Валентин Черпиземев, говорит тихо, убежденно и твердо. Они сидят на кухне за столом. Если смотреть на Черпиземева чуть в профиль, то длинные волосы, прямой нос и пшеничные усы делают его похожим на Христа, как его изображают в православном варианте, — русокудрым, с голубыми глазами, широким лбом и вытянутым лицом; щеки худые, а глаза большие и суровые. Растерянный, а теперь уже и потрясенный до невменяемости Евгений Детинин внутренне согласен, что у него много грехов, а это приехал из Логатова сам Христос переночевать и помолиться. Нечеловеческим усилием собирая распавшуюся волю, Детинин пытается выпроводить страшного гостя:

— Я вообще-то не знаю, может, она даже сегодня уже вернется, — лепечет он, подразумевая жену. — Надо было все-таки меня предупредить.

— Понимаете, Евгений, я не знал. Мне только буквально вчера стало известно, что в конференц-зале МВТУ — Бауманку знаете, да? — что там будет выставка картин Константина Васильева. Всего одну неделю, с 23 по 28 октября. Я быстро собрался и поехал, и даже денег взял в обрез: не уверен, хватит ли на билет.

— Из Логатова в Москву на выставку? — изумился Детинин, слегка все же утешенный, что перед ним не Христос, потому что Христос не поехал бы на вернисаж.

— Это же Константин Васильев, к нам в Логатов когда-то еще привезут. Хотите завтра со мной пойти?

— Ну, я не знаю… как будет с настроением…

Дальше начинается совсем чепуха. Если бы Детинин был умным человеком, он бы понял, что его положение действительно опасно, и понял бы почему. Потому что он открылся, пропустил удар. Он бы понял, что жена — там, в гостях — вошла в чужую ячею, возможно, приехала к кому-то в гости, возможно, даже без дочери, оставив ту у родственников, — и, войдя в ту, чужую ячею, возможно, к холостому мужчине, мужа своего здесь, в Москве, тем самым нокаутировала. Они же были как одна плоть, и вот распались. И в м е с т о жены в освободившуюся ячею тотчас занырил Черпиземев: природа не терпит пустоты; то, что отнимется там, прибавится здесь. Ну, пусть даже в своих гостях она заночевала у подруги, — у тех, с непривычки, ощущение, что они лесбиянки, у этих, со страху, — что они гомосексуалисты. И начало-то помутнения сознания у Детинина как раз и связано с тем вероятным гостевым визитом жены. Вроде бы, банальное дело — дружба, а вот поди ж ты!

А результат этих катастрофических перемен тот, что теперь, близко к ночи, за столом у него сидит этот странный тип и, допив пустой чай, говорит доверительно:

— Пойдемте на диван, я вам почитаю Тютчева.

Надо сказать, что Тютчев был единственный из русских поэтов, больших и маленьких, которого Детинин на дух не переносил. Он его ненавидел до полного отвращения, считал сухим, холодным, метафизичным, черствым, альфонсом, эгоистом, который без конца женился на молоденьких, пока те не умирали в родах, и проделывал это так часто, что закрадывалась мысль о трупоедстве, дисморфомании и других непотребных отклонениях в психике этого чиновника от литературы; этот вечно непричесанный и распутный эпигон классической немецкой философии, не от мира сего и вместе с тем безответственный поболе самых неприкаянных пьяниц, типа Гофмана или Эдгара По, так прожил, так по жизни прошествовал, точно ему все было по фигу. От его насквозь схоластической поэзии честного Детинина воротило, как от сопромата или бухучета в части нематериальных ресурсов. Аристотель тоже схоласт, но ведь какой умница! Кант тоже немец, но ведь как умеет рассуждать! Новалис и Поуп тоже поэты, но ведь какого достигают филигранного мастерства! Этот

же лепил строчку из букваря, строчку из Фихте, а сверху все покрывал русской глазурью с небес. И ни в чем-то он не признался миру в своих стертых и как бы выцветших словах.
И как тут не ошизеть, если гость, явившийся его вычерпать, с русским кабаком, который они только что, соленым и до корочки поджаренным, умяли вдвоем, этот православный верующий, по облику прямой ангел и Иисус, а также сексуально неправильно ориентированный, ничего другого в благодарность не находит, как, перебравшись на диван, наизусть читать стихи Федора Тютчева.
— Я за тебя помолюсь, — повторяет он и тихим, не особенно выразительным голосом сельского дьячка начинает (а Детинин вынужденно и привлеченно, с полуулыбкой слушает):

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?

Блеснет твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы…
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,

Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, —
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа…

Валентин Черпиземев, внаклонку сидя на низком диване и вложив одну свою ладонь в другую, печальным речитативом читал одно религиозно окрашенное стихотворение поэта за другим, но после того, в котором Детинину обещали, что его собственные обиды, пороки и всякую скверну прикроет риза чистая Христа, насмерть перепуганный Детинин поспешно поднялся с дивана и пошел в другую комнату якобы готовить постель гостю. Он был полностью деморализован. Так пьяницы, начав квасить с утра, к ночи упиваются в лежку. Пьяницей Детинин не был; он не был также и

умницей, иначе бы сообразил, что нынешнее его болезненное состояние напрямую связано с привычкой всех его родственников-мужчин к вечеру напиваться в стельку и в усмерть. Он, пронятый до нутра, боялся, что если его, и без того растерянного, еще чем-нибудь обличат, – Христом ли, адом ли, съеденным ли кабачком, – он не выдержит и завизжит, забьется в истерике, начнет что-либо выкрикивать, как кликуша. Это была страшная пытка, доселе собранный и всегда подтянутый Детинин прежде такой не испытывал.

III.

Утром роли распределились окончательно: Детинин стал ведомым, а Черпиземев – ведущим. Как-то все ладилось и спорилось у этого красавчика, хотя, в отличие от многих других симпатичных блондинов, он не выглядел ни самодовольным, ни женоподобным. Утром позавтракали опять жареными кабачками, поговорили за завтраком о государственной концепции поворота северных рек (Логатов стоял как раз на северной реке). Настроенный подавленно, Детинин сказал, что весь этот план – повернуть северные реки, дабы восполнить пересохший Арал и напоить южные степи, – очень уж смахивает на некое государственное или даже планетарное помешательство, а Черпиземев, подтвердив, что глобалисты во всем мире совсем уж свихнулись в своих сатанинских замыслах, добавил, что надо отстаивать и развивать экологическое движение и что у них там, в заливах и акватории Белого моря, возникло ответное движение под условным названием «Северная Двина». Он говорил с такими недомолвками, но так весомо, что запахло белогвардейским мятежом, бывшим в тех же местах почти семьдесят лет назад.
В Москве Черпиземев разбирался так уверенно, точно всегда здесь жил, а с полдороги даже стал трунить над Детининым, говоря, что зазорно не знать такое учреждение, как Бауманский институт. «Я ведь гуманитарий, мне зачем?» – хмуро оправдывался Детинин, которого плохо держали ноги и который клял себя, что согласился пойти на эту выставку: все эти технари его напрочь не интересовали, а об этом новоиспеченном

гении Константине Васильеве он впервые слышал. Всю дорогу Черпиземев бойко и обстоятельно, как гид, рассказывал об этом художнике, его энтузиастические восторги даже претили (Детинин хмуро думал, что нужны бы крепкие ботинки, и неплохо бы тоже светлой кожи. «Что ни куплю, назавтра разваливается», — с грустью думал он).

Посетителей на экспозиции было немного, но теснота полуразгороженных залец и плохое, с улицы, освещение создавали впечатление толчеи и многолюдства. Первые же картины так потрясли Детинина, что он еще больше захотел уединения: Черпиземев с его неотвязными комментариями и агитацией за творчество воспринимался уже как завзятый болтун; к тому же, здесь водили экскурсию (похоже, сымпровизированную), чужие искусствоведческие истолкования тоже мешали. Немного погодя, Детинину удалось отделаться и от новых адептов, и от Черпиземева; он ходил от картины к картине, окружив себя корпускулой отчуждения, и помногу стоял перед каждой. Картины его сокрушили своим космизмом и холодом. Старик богатырь Дунай, из которого вытекла извилистая до горизонта река, заставил физически страдать; гордые, тщательно, болезненно тщательно выписанные нордические лики, с седыми кустистыми бровями, со светлыми окнами глаз, среди наледей, снегов и вертикальных свеч погрузили в некую доисторическую смуту. Ведь и правда, ведь все это до своего рождения знавал и он, горожанин Детинин: пушистые от инея личины окон, румяных дев с золотыми косами и эту звериную жестокость потех и ристалищ. Вообще же картины Васильева тоже, как и все прочее в эти сутки, его напугали: так реагировал бы задумчивый, аутичный малыш на слишком яркую игрушку. Казалось невероятным, что можно так тщательно прописать детали, подобрать такие сталистые оттенки и так, в виде трехмерного голографического изображения, обрамить эти древние, былинные, святоотческие сцены. Это было нечеловеческое, антигуманное искусство. Доброму, умягченному затворнику Евгению Детинину, только к жене из людей и привязанному, уже скучавшему без нее, страшно и больно, как на сверкание электросварки, было смотреть на этот безжалостный северный холод. Он скоро ощутил себя больным

и пошел искать Черпиземева: удирать крадучись было бы все же неприлично.
Черпиземев джентльменом выглядел в кучке экскурсантов и обстоятельно, уже познакомившись, о чем-то толковал с низеньким бородачом: у них шел вполголоса культурологический диспут, упоминали русичей и норманнов. Они были так увлечены, что если бы Детинин и не явился попрощаться, Черпиземев не был бы в претензии. Хмурый фефел и домосед Евгений Детинин позавидовал, что можно так запросто, с кондачка и на основе компанейских интересов, культурно общаться. Какой-то он был все же необыкновенный, этот помор: приветливый, как стюард на корабле, и для всех доступный; никогда бы Детинин не смог так увлеченно разговориться с малознакомым человеком.
— Мне надо идти, Валентин, у меня много работы.
— Да, конечно, — рассеянно сказал Черпиземев, крепко пожимая протянутую руку. — Спасибо за гостеприимство. Я скажу Эппу, что видел вас.
Было очевидно, что новый собеседник, низенький бородач, северному проводнику культуры уже гораздо ближе и интереснее, чем Детинин, который не знает, что ответить даже на стихи Тютчева, чем восторгнуться. От такого — неожиданно холодного — расставания Детинин ощутил горечь и неприязнь не только к недавнему гостю, но и к художнику Васильеву. Все они были чужие, эти умные культурные просвещенные люди, все они умели пожить, одеться, складно сказать. Они могли запросто заявить: «пост», «Иисус», «помолюсь» — и при этом не загордиться. Разве можно так легко швыряться табуированными именами, выставлять напоказ тайные знаки жречества и с непосвященными толковать о вере?
Детинин был глубоко разочарован в новом знакомце, которого уже начинал любить и идеализировать, — из-за того, что тот так добр и внимателен к другим. Через пару часов этот красавец заедет еще по какому-либо московскому адресу, еще кого-либо очарует, потом сядет в поезд и двинет в Логатов, к своим северным мятежникам.
Детинин, один, спустился по широкой лестнице, прочь от гудящего улья этих посвященных, но и на улице все было

привычно и противно. «Как они все умеют и любят жить! Какой я по сравнению с ними неумеха, гугнивый дурачок, запечный таракан!» Его глубоко огорчало, что даже у Полярного круга живут энтузиасты, которые увлекаются искусством, а он, уже двадцать лет москвич, даже до дельфинария, расположенного в двухстах метрах, ни разу не выбрался, не то что в Третьяковскую галерею или на стадион «Лужники». Он закис здесь, в столице, закис, а теперь и растерялся вдобавок!
«Поеду все-таки прямо домой, – решил Детинин, понуро вышагивая мимо пыльных стен. – Там приготовлю чай с душицей и стану ждать: может, она уже по мне соскучилась и приедет раньше».

IV.

Когда через десять дней жена вернулась в дом, она застала мужа опухшим, небритым и в слезах.
– Что с тобой? Ты о чем плачешь? – в тревоге спрашивала она. – Что произошло?
Она ощутила острую внезапную жалость к мужу, во-первых, и, – второе, – в глухих подземельях ее грешной души ворохнулось сожаление, что она отдавалась Юрику, да еще в таком неприспособленном месте. «Теперь вот еще и с этим возись».
– Где ты так долго гостила? – жалостно плакал ее депрессивный муж. – Я же оголодал совсем, и денег нет, и поесть нечего… Где ты была?
– Ну, мы же условились, что я съезжу в Ростов. Там и была. Что с тобой?
– Они же за мной охотятся! Они же меня во дворе караулят. Они меня все равно достанут, как достали Васильева.
– Кто такой Васильев? – с той строгостью в глазах, какая бывает у медицинских сестер, когда они подходят со шприцем к буйному больному, спросила жена и, уже обращаясь к дочери, ласковее сказала: – Даша, сними плащик и повесь его на вешалку.
– Художник Константин Васильев, – ныл Детинин, на радостях лапая жену, в глазах которой теперь мелькали испуг и отчуждение, как и во всякой бы другой изменщице, побывавшей в

чужих объятиях. – Разве ты не знаешь? Он погиб совсем молодым: после первой же своей персональной выставки возвращался с товарищем через железные пути, и его сбила электричка.
– И ты считаешь, что они сидят теперь во дворе и караулят тебя? – сухо поинтересовалась жена, как больничная сиделка спрашивает у старухи, был ли у той стул. – Зачем это им? Даша, повесь плащ и надень тапочки с помпонами.
– Ты не представляешь, что я пережил. Я даже в магазин боялся выходить… – робко скулил Детинин, которого озаботило, не богородица ли – после Иисуса – теперь приехала его спасать; а если так, значит угроза и впрямь велика, а опасности неотвратимы.
– А ты не ходи железными путями, и ничего с тобой не случится, – уже беззаботно сказала жена. – Даша, поцелуй папу и поди в ванну, умойся хорошенько с мылом: ты вся в пыли. Сейчас будем кушать южные фрукты.

Об авторе: АЛЕКСЕЙ ИВИН

Родился в деревне Нижняя Печеньга Тотемского района Вологодской области. В 1971-1973 гг. учился на филологическом факультете Вологодского государственного педагогического института, работал в вологодских областных и районных газетах. В 1976-1981 годах учился в Литературном институте; затем работал в МО СП СССР, в журналах «Наш современник» и «Сельская молодежь», в различных иных организациях. Печатается в периодике Москвы с 1981 года. Не опубликованы около десятка повестей, 70 рассказов, монография по творчеству Оноре де Бальзака, несколько романов. Состоит в РСПЛ с 2000 г. Hekaýalar